



# Часть первая



## К СОЛНЦУ

**В**зрослые часто не понимают детей, потому что видят мир не таким, каким его видят дети. В окружающих предметах взрослые видят их назначение, видят то, чем эти предметы полезны для них. Дети же видят лицо вещей. Они не знают, откуда эти вещи явились, кто их сделал и сделал ли кто. Дети знают, что вещи существуют, что вещи живут, и относятся к вещам как к живым существам.

Помню себя маленьким — четырёхлетним, может быть, трёхлетним. Вижу себя в окружении вещей, которые не только будят во мне какие-то мысли, но и действуют на мои чувства. Вот сутулый, с выдвинутыми вперёд плечами, огромный, чуть ли не до потолка ростом, шкаф. Он стоит, подпирая своей широкой, плоской спиной стену, погружившись в какую-то свою глубокую, бесконечную думу. От него не много добьёшься слов. Если он и произнесёт что-нибудь на своём скрипучем, непонятном для меня языке, то лишь когда открывают дверцы, чтоб достать что-нибудь из одежды, хранящейся в его недрах.

По сравнению со шкафом буфет более легкомысленное и франтоватое существо. У него и цвет не такой серо-бурый, а с красноватым отливом. Верхние дверцы на его груди украшены деревянной резьбой, изображающей битых уток, подвешенных вниз головой. На нижних дверцах такие же резные изображения корзин, наполненных виноградными гроздьями. У него какая-то несуразная маленькая головка в виде полукруга с вырезанным по краям хитросплетением виноградных листьев, а на плечах торчат выточенные из дерева шпалеобразные фигуры, напоминающие собой что-то вроде двух огромных шахматных ферзей. Этот чудак буфет, наверно, воображает, что очень красиво, когда на плечах две такие нелепые штуковины.

Во всяком случае, он не такой задумчивый и не такой молчаливый, как шкаф. На его полках хранятся сахар, печенье, варенье в стеклянных банках (иногда даже конфеты!), соль, масло, хрен, перец, горчица, чай, кофе, какао, консервы, чашки, блюдца, стаканы, графины, бокалы, кофейная мельница (её можно вертеть сколько угодно, когда никто не видит). В ящиках, которые выдвигаются из живота, лежат ложки, вилки, ножи, салфетки и другие разные вещи. На нижних полках — стопы тарелок, розеток, соусницы, селедочницы, суповые миски, огромные блюда, медные подсвечники, чугунная ступка — в общем, вещи всё нужные, которые постоянно приходится доставать, отчего буфет то и дело говорливо скрипит, шипит, сипит, визжит, хрипит, крикает всеми своими дверцами и ящиками.

Словом, он существо хотя и нелепое, но вполне компанейское, чего не скажешь о креслах... Вот уж!.. В своих белых полотняных чехлах, из-под которых, точно из-под платьев, торчат только кончики ножек, они похожи на каких-то чопорных пожилых тёток. Аккуратно протянув согнутые в локтях руки вдоль бёдер с таким расчётом, чтоб была соблюдена строгая параллельность, они чинно сидят по углам комнаты, полуобернувшись друг к дружке, и молчат. Молчат напряжённо, упрямо, сосредоточенно. Чувствуется, что им до зарезу хочется поговорить, посудачить о том о сём, да неохота показывать, что их могут интересовать такие пустяки, как праздные разговоры. Мне кажется, что, как только я ухожу из комнаты, они сейчас же принимаются болтать

о всякой всячине: их словно прорывает от длительного молчания. Но стоит мне возвратиться — и они тотчас прикусывают язык, ручки тотчас — вдоль бёдер, и опять тишина, будто никакого разговора и не было.

В их обществе я чувствую себя лишним, ненужным, стесняющим: чем-то вроде гвоздя в сапоге. Ни на минуту не оставляет мысль, что эти старые ханжи только и ждут, чтоб я поскорей выкатился за дверь и не мешал им изливать друг перед дружкой душу или перебивать косточки своим знакомым.

Диван, который стоит вдоль стены, тоже из их породы, но характер у него другой. Он смешит меня тем, что старается быть похожим на кресла. Пыжится, напускает на себя важность, а ничего не выходит. Ему и невдомёк, что нет смысла выпячивать грудь и выставлять напоказ всем живот, которые до такой степени разрослись вширь, что уже ни на грудь, ни на живот не похожи. Не помогает ему и чехол, который он напялил на себя. Чехол до того широк, что уже потерял всякое сходство с платьем. А зачем ему платье? Он же мужчина! Диван, однако ж, не замечает всей смехотворности своего положения и, подражая креслам, тоже аккуратненько положил ручки вдоль бёдер...

Но может быть, он просто передразнивает кресла? Может быть, он подшучивает над ними? На самом деле его, может быть, распирает от смеха и от этого он такой надутый? Как все толстяки, диван — добродушное существо, а все, у кого добродушный характер, любят пошутить, посмеяться. Только какой же смех может быть в присутствии этих чванливых кресел! Если мне случится попрыгать по дивану, он с удовольствием поскрипит пружинами, маскируя этими звуками свой смех. Таким образом, и сено цело, и овцы сыты: и посмеялся чуточку и не разозлил никого. Ну, мы-то с диваном понимаем друг друга. Только мне, сказать по правде, не то что прыгать, но даже сидеть на нём, точно так же как и на креслах, нельзя: могу чехлы испачкать.

Да это не очень-то мне и нужно. Подумаешь! У меня больше дружбы со стульями. Хотя они тоже чем-то смахивают на людей (и ножки у них, и спинки), но они не пыжятся изо всех сил, стараясь изображать из себя каких-то недотрог. Словом, ребята



они вполне свойские, с которыми можно, как говорится, запросто, без особенных церемоний.

А вот самая близкая для меня вещь в мире вещей — моя кровать. На её плоских железных спинках, выкрашенных голубой краской, — две замечательные овальные картинки. На картинке, которая у меня в ногах и на которую обычно устремлён мой взор, когда я лежу, изображены ветряная мельница, вдали — деревенские домики среди кудрявых лип и берёзок, а впереди — зелёная лужайка и поблёскивающий на солнце ручей. Я люблю смотреть на этот «романтический» пейзаж... Вернее сказать, любил бы, если бы изготовители кровати не переусердствовали в своём стремлении усладить жизнь ребёнка и не украсили верхушки обеих спинок литыми или штампованными из металла изображениями головы какого-то чудовищного старика, сплошь заросшего волнистыми змеевидными волосами, как у мифической Горгоны, при взгляде на которую люди, как известно, каменели от страха. Приоткрыв в какой-то издевательской

усмешке чёрную дыру рта, заросшего вокруг кольцами бороды и усов, старик уставился на меня своими жёсткими, неподвижными глазами, прячущимися в завихрениях косматых бровей.

Даже днём при взгляде на это, с позволения сказать, украшение меня охватывает неприятное, беспокойное чувство страха. Но днём я могу убежать от него в другую комнату, во двор и постараться выбросить его из головы. Но вот наступает ночь. Приходится ложиться спать. Я забираюсь в кровать, стараясь не глядеть в сторону пугающего меня изображения старика. Но не глядеть на него я не могу. Его лик словно притягивает к себе мои взоры. Я словно хочу разгадать, зачем он так настойчиво на меня смотрит, чего ему от меня надо, что он задумал против меня.

Гасят свет, и комната погружается во мрак, только окна, которые до этого были тёмные, даже чёрные, моментально становятся светлыми. Я гляжу на окно, на лицо окна. Верхняя часть оконной рамы — это лоб. Под ним две форточки — глаза (бывают и одноглазые). Нижние открывающиеся створки — щёки, между которыми длинный, от бровей до самого подбородка, нос. Рядом — другое такое же окно — лицо. Оба окна выжидательно глядят на меня, словно думают:

«Ну-ка, посмотрим, голубчик, что ты теперь будешь делать».

Мрак постепенно рассеивается, и я снова вижу страшного старика. В темноте вид у него ещё более зловещий. Я накрываюсь с головой одеялом и пытаюсь поскорее заснуть. Моё изображение разыгрывается. Мне чудится, что старик уже сошёл со своего места и неслышно подкрадывается, чтобы схватить меня. Время идёт. Никто меня не хватает. Наконец спасительный сон незаметно берёт меня на руки и уносит в своё волшебное







царство. Я вижу замечательные, фантастические, счастливые сны. Просыпаюсь утром в комнате, залитой солнечным светом. Наскоро одевшись и бросив взгляд в сторону проклятого старика, я бегу во двор к цветам и деревьям, к траве, к солнцу, к небу, к радости. Народившийся новый день представляется мне нескончаемо длинным, и предстоящая очередная вечерняя встреча с мифическим стариком видится в таком отдалённом будущем, что уже не тревожит меня.

## ВЕЛИКАН

**Е**сть человек, которого я очень люблю. Это мой отец. Какой он? Я никогда не задавался этим вопросом и не берусь его описывать. Он такой как есть, каким должен быть и иным быть просто не может. Мне всё нравится в нём: и лицо, и голос. Он всегда ласков со мной и часто называет меня уменьшительными именами. Когда мы возвращаемся с прогулки и я шагаю из последних сил, чуть не падая от усталости, он подбадривает меня:

— Ну, шагай, Кока, шагай! Смотри, совсем немного до дома осталось. Ты у меня молодчина!

Единственное, что я могу сказать о нём, — это то, что он очень большой. Его туфли, которые он любит называть в шутку «мои скороходы» (производства обувной фабрики «Скороход»), каждый раз приводят меня в изумление своей величиной, особенно когда я вижу их отдельно от него, то есть когда он снимает их. Иногда я пробую влезть в эти скороходы и походить в них. Несоизмеримость моих ног с этой гигантской обувью особенно сильно действует на моё воображение, и мой отец представляется мне каким-то фантастическим существом.

Мне нравится, когда мой добрый великан берёт меня руками под мышки и поднимает над своей головой. Я вижу мир не таким, каким вижу его обычно, то есть с высоты своего ничтожного роста. Мне начинает казаться, что я тоже вдруг стал великаном, и всё моё существо наполняется гордостью. Если же отцу вздумается подбросить меня кверху, я громко смеюсь, испытывая захватывающее чувство радости, смешанное со страхом. Но я люблю испытывать это чувство и прошу, чтоб он подбрасывал меня ещё и ещё.

Я не знаю, что делает мой великан на нашей планете: каково, так сказать, его жизненное поприще и чем он снискивает пропитание для себя и своей семьи. По моим представлениям, вся человеческая деятельность сводится к трём вещам: 1) бегать (можно ходить), 2) видеть и 3) есть, то есть потреблять продукты питания — это мне предстоит узнать в будущем, а пока я знаю лишь, что время от времени великан уезжает, и я не вижу его иногда по нескольку дней. Я скучаю по нём и спрашиваю мать:

— Когда папа приедет?

Если мать скажет: «Вечером» или «Завтра», — это понятно мне. Вечером — это значит, когда кончится день. А завтра — это когда кончится день и пройдёт





ещё ночь. Но если мать говорит: «Через пять дней», — как это понять? Ведь я не умею ещё считать.

— Это будет в воскресенье, — объясняет мать, видя, что я не понимаю.

— А когда воскресенье? — задаю вопрос я.

— Воскресенье через пять дней.

— А сколько это — пять дней?

Мать пытается наглядно объяснить мне значение этой числовой величины.

— Ну сколько у тебя на руке пальцев? — спрашивает она.

Я смотрю на свою руку с широко растопыренными пальцами и говорю:

— Много.

— У тебя пять пальцев, — говорит мать и, загибая один за другим пальцы на моей руке, считает: — Один день, два дня, три дня...

Наконец все пальцы загнуты, и я с недоумением смотрю на свою руку, стиснутую в кулак. Видя, что я ничего не понял, мать подводит меня к висящему на стене календарю.

— Сегодня какой день? Вторник, — говорит она и начинает загибать кверху один за другим листки. — Вот смотри: пройдёт вторник, за ним среда, потом четверг, пятница, суббота... а вот видишь на листочке красная цифра — это и есть воскресенье. Мы будем каждый день отрывать по листочку, и, когда дойдём до этого листка с красной цифрой, приедет папа.

— У, это долго, если каждый день по листочку! — говорю я. — Давай оторвём все сразу.

Мать невольно улыбается и начинает объяснять мне, почему нельзя сразу, но я что-то не очень понимаю, какая может быть связь между этими бумажонками на стене и приездом отца.

Вечером, ложась спать, я долго обдумываю этот вопрос. Наутро встаю и, ещё не одевшись, отрываю от календаря один за другим листочки, пока не появляется листок с красной цифрой.

— Вот, сегодня папа приедет, — говорю я матери, которая застаёт меня за этим занятием, и показываю пальцем на красную цифру.



— Глупый! — говорит мать. — Я ведь тебе объяснила. Значит, ты ничего не понял! Один листок надо было оторвать.

— А если я хочу, чтоб папа приехал?

— Мало чего ты хочешь. Разве пройдут дни, оттого что ты оторвал листочки?

— Ну, я не знаю, как это там получается, — развожу я руками. — Может быть, и пройдут.

— «Может быть», «может быть»! — передразнивает меня мать. — Слушал бы, что говорят старшие. Давай одевайся.

Я начинаю натягивать чулки, которые вечно норовят вывернуться кверху пяткой. Мать поправляет чулок на моей ноге. То, что казалось мне трудным и сложным, так легко и просто получается у неё. Я люблю, когда мать помогает мне одеться. Сквозь чулок, даже сквозь ботинок, когда она завязывает шнурки, я чувствую тепло её ласковых рук.

Через полчаса я сижу за столом на застеклённой веранде и пью чай с молоком. За окнами на ярком солнышке мельтешат своими серебристыми листочками берёзы, порхают бабочки, жужжат суетливые мухи разных пород и калибров, плавно проносятся деловитые пчёлы. Словом, вокруг много всякой живности: тут и глазастые голубые стрекозы с трепетными прозрачными крылышками, и мохнатые добродушные шмели, и злые полосатые осы. Для меня особенное удовольствие — увидеть стрекозу. А ос я боюсь. Мне кажется, что у них только и мысли, как бы залететь на веранду и ужалить меня.

Сквозь окна и открытую настежь дверь виден почти весь участок, на котором стоит наш дом. Перед самым домом — клумбы с цветами. Я уже знаю названия многих из них. Вот пахучие, пылающие, как огоньки, настурции. Словно озорные мальчишки, они карабкаются по толстым, кривым, узловатым стеблям, прячутся под большими круглыми листьями, похожими на зелёные зонтики. Вот маргаритки. Они как маленькие примерные девочки: чистенькие, аккуратненькие, немного застенчивые, стоят на своих тонких ножках и, склонив набок головки, о чём-то секретничают между собой. А вот анютины глазки — гордые красавицы. Разодевшись в яркие нарядные платья, они словно собрались на бал.

Но мои самые любимые — резеда: скромные, крошечные, неприметные цветочки с тонким, неповторимым, на всю жизнь запоминающимся запахом.

Если встать ночью, когда все спят, то на клумбах можно увидеть гномиков, то есть маленьких человечков ростом с палец. Они приходят сюда из леса и нюхают резеду. Известно, что гномики ничего не едят и питаются запахом цветов. На головах у них красные остроконечные шапочки, а в руках — крошечные фонарики, которыми они освещают себе путь. Ночью мне надо





спать, поэтому живых гномиков я пока не видал, но видал их на картинке, которую показывала мне мама.

Позади клумб — зелёная поляна, пестреющая беленькими ромашками, лиловыми колокольчиками, синими васильками и седыми, пушистоголовыми одуванчиками. За поляной — лес (десятка два молодых берёзок и ольх). Здесь живут мои милые подружки — безмятежно-спокойные, мечтательные фиалки и задумчиво-грустные ландыши (мне всегда ландыши почему-то кажутся грустными, может быть, потому, что выбирают места поединённое, потемнее).

За лесом — лужайка, поросшая густым мхом и бледно-зелёными чешуйчатými болотными хвощами (место здесь сыроватое). Дальше — серый, потемневший от времени деревянный забор с посаженными вдоль него запашистыми и липучими бальзаминовыми тополями. За забором — улица. Называется почему-то «Первая линия».

Наклонившись над блюдцем, я пью чай и болтаю под столом ногами. Хотя мне не раз твердили, что, сидя за столом, болтать ногами нельзя, я неизменно нарушаю это установление. Дело в том, что меня неудержимо тянет к движению, к перемещению в пространстве. Ноги мои хотят бегать. Но поскольку пить чай и бегать в одно и то же время нельзя, то ноги мои просто болтаются, изображая бег, а бегают вместо них глаза. Скользнув по поверхности стола, они выскакивают за дверь и бегут по посыпанной песком дорожке, которая ведёт через весь участок к калитке...

И тут вдруг случается то, что никак не должно было случиться. Калитка неожиданно открывается, и в ней появляется мой великан. Я хочу крикнуть: «Папа приехал!» — но вместо этого от распирающей меня радости фыркаю прямо в блюдце, и весь чай с молоком выплёскивается мне в лицо, попадая даже за уши. Выскочив из-за стола, я бегу по дорожке... нет, не бегу, а лечу над дорожкой, как шмель, как пчела... нет, как муха (мухи быстрее летают).

— Гоп!

С этим возгласом отец ловит меня, иначе я угодил бы ему головой прямо в живот. Минута — и я въезжаю в дом, сидя у него на плече.

— Вот! — торжественно объявляю я матери. — А ты говорила — глупый!

Отец рассказывает матери, что где-то что-то не то состоялось, не то не состоялось, поэтому он вернулся раньше, чем было намечено.

Мать рассказывает отцу про случай с календарём.

Весело хохочет отец. Спрашивает:

— Ты, может быть, думаешь, я на самом деле приехал, потому что ты календарь испортил? Это совпадение. Знаешь, что такое совпадение?

Он начинает объяснять мне, что такое совпадение. Я, конечно, не могу во всей полноте понять значение этого слова, но, когда впоследствии произошло ещё одно совпадение, я уже знал, что это за штука такая, хотя кончилось в тот раз совпадение уже не радостью, а слезами.





## НЕПОПРАВИМАЯ БЕДА

Встречаются люди, которые любят донимать детишек вопросами вроде: «Скажи, ты кого больше любишь, маму или папу?»

Они не понимают, что ребёнку подчас трудно разобраться в своих чувствах, что ему к тому же не хочется обидеть мать или отца признанием, что он кого-то из них любит меньше. И невдомёк этим людям, что любовь не какое-то однозначное, измеряемое лишь количественно чувство, где всё решается вопросом: больше — меньше, сильнее — слабее. Они не думают, что по-разному чувство любви проявляется к матери или отцу, к брату или сестре, к близкому родственнику или просто знакомому человеку, что многое здесь зависит не только от человека, которого любят, но и от человека, который любит, от сложившихся взаимоотношений, обстоятельств и прочее.

Отца я вижу реже, чем мать, поэтому и чувства здесь, особенно при встречах, проявляются более бурно: отец схватит на руки, обнимет, поцелует... С матерью я обычно не разлучаюсь. Она всегда рядом или где-нибудь поблизости. Поэтому тут нет ни бурных встреч, ни объятий, ни поцелуев и нежных слов. Если мне и достаются иногда поцелуи, то только по праздникам, когда, по обычаю, полагается поздравлять друг друга или когда я заболею.

Вместе с тем вопрос, кого я больше люблю, кажется мне диким, непонятным, дурацким. Да кого же я могу любить больше матери? Да я разве люблю её? Нет ничего, с чем можно было бы сравнить моё чувство к ней. Она — моя ненаглядная. Без неё я не мыслю своего существования.

Помню: уже я в постели. Мать что-то делает, бесшумно передвигаясь по комнате. Кажется, она раскраивает материю, расстеленную на столе, собираясь что-то из неё шить. Чтоб разогнать сон, который уже давно одолевает меня, я напеваю какую-то сейчас уже позабытую песенку, а глаза мои неотступно следят за матерью.

— Почему ты не спишь? — спрашивает мать. — Пора уже спать.

— Ещё не хочется, — говорю я.